

ДНЕВНИК
ЮРЫ
РЯБИНКИНА

Юра Рябинкин, живший в Ленинграде с мамой и сестрой, боролся не только с блокадными обстоятельствами, пришедшимися на долю всех, он боролся ещё и с самим собой, со своей совестью, вынужденный делить крохи хлеба с самыми близкими, и честно записывал эти трагические переживания в свою синюю тетрадку в матерчатой обложке.

Младшая (моложе на 8 лет) сестра Юры Ира была разыскана ещё в прошлом веке Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем, напечатавшими отрывки из дневника её брата в своей «Блокадной книге»; удалось поговорить с ней и нам, уже в 2015 году. Ирина Ивановна, 45 лет проработавшая учительницей русского и литературы в школе, помнит, как мама - с уже замутнённым дистрофией сознанием - упаковывает чемодан: Рябинкиным наконец дали возможность эвакуироваться. Но Юре не суждено было уехать из Ленинграда, он остался дома.

Ирина Ивановна помнит, каким видела брата в последний миг: опирающегося на палочку, прислонившегося к сундуку, уже бессильного идти... «Юрка, там Юрка остался!» - всю дорогу надрывается мать. Её последних сил хватает только на то, чтобы довести младшую дочь до Вологды и несколько часов спустя умереть у неё на глазах на вокзале.

Ирина Ивановна хранит дневник брата, его стеклянную чернильницу и хрупкую веру в то, что Юра жив, а не нашёл её, определённую в детприёмник и затем вывезенную из Вологды тёткой, из чувства обиды, боли, гордости...

Как Юрин дневник попал к людям - история до конца не ясная. К одному из юбилеев снятия блокады газета «Смена» бросила клич по школам - собрать свидетельства тех дней. Одна девочка принесла блокадный дневник неизвестного ей мальчика, Юры Рябинкина, хранившийся в семье, а до этого - у её бабушки в Вологде. Когда Ирина Рябинкина прочитала «Смену», опубликовавшую отрывки, она поехала в Вологду и нашла ту женщину: «Разговор получился короткий... Похоже, что она работала медсестрой в какой-то больнице, и Юра, умирая, уже не в состоянии ничего сказать, лишь кивнул головой: «Здесь, под подушкой». Там лежала синяя тетрадь. Медсестра её забрала. Что стало с Юрой - неизвестно».

«Чувство вины перед Юрой - оно пришло со временем! И я с ним живу, как живу с этой синей тетрадью, - продолжает Ирина Ивановна уже сквозь слёзы. - И знаете, ещё я живу с грузом: я ведь должна быть Человеком! Должна быть достойна тех людей, моих близких и мне незнакомых, которые погибли в блокаду. Потому что за мою жизнь слишком много заплачено...»

22 июня 1941 г. Всю ночь мне не давало спать какое-то жужжанье за окном. Когда наконец к утру оно немного затихло, поднялась заря. Сейчас в Ленинграде стоят лунные, светлые, короткие ночи. Но когда я взглянул в окно, я увидел, что по небу ходят несколько прожекторов. Все-таки я заснул. Проснулся я в одиннадцатом часу дня, вернее, утра. Наскоро оделся, умылся, поел и пошел в сад Дворца пионеров. (...)

Выйдя на улицу, я заметил что-то особенное. У ворот нашего дома я увидел дворника с противогазом и красной повязкой на руке. У всех подворотен было то же самое. Милиционеры были с противогазами, и даже на всех перекрестках говорило радио. Что-то такое подсказывало мне, что по городу введено угрожающее положение.

Придя во Дворец, я застал только двоих шахматистов. (...) Расставляя шахматы на доске, я услышал что-то новое, обернувшись, я заметил кучку ребят, столпившихся вокруг одного небольшого парнишки. Я прислушался и... замер...

- ...Вчера в 4 часа ночи германские бомбардировщики совершили налет на Киев, Житомир, Севастополь и еще куда-то, - с жаром говорил паренек. - Молотов по радио выступал. Теперь у нас война с Германией!

Я просто, знаете, сел от изумления. Вот это новость! А я даже и не подозревал такой вещи. Германия! Германия вступила с нами в войну! Вот почему у всех противогазы.

У меня голова пошла кувырком. Ничего не соображает. Я сыграл три партии. Чудак, все три выиграл и поплелся домой. На улице остановился у громкоговорителя и прослушал речь Молотова. Когда я вернулся домой, дома была только мама. Она уже знала о происшедшем. (...)

28 июня. Сегодня работал опять во Дворце пионеров на строительстве бомбоубежища. Работа была адская. Мы стали сегодня каменщиками. Я отбил все свои руки молотком - все они теперь в царапинах. Но сменили нас рано - в 3 часа. Поработали мы, следовательно, 4 с половиной часа, но как!!!

Из Дворца я пошел к маме. Мама в беспокойстве, все ходит унылая... Встала возможность химической войны, сейчас начинается эвакуация. Взял 5 рублей и сходил в столовую. Затем пришел домой. Приходила какая-то женщина, которая записывала всех ребят до 13 лет. Ирку записала. Комендант приказал Нине дежурить у ворот с половины десятого и до трех. Кстати, сообщил, что на случай тревоги мы должны бежать к Хамадулину, в 1 этаж. Но там все равно небезопасно. От фугасной бомбы

не спастись, от воздушной волны тоже: волна снесет дом, а его обломки похоронят нас в этом подвале; от химической бомбы не спастись тем более.

29 июня. Работал во Дворце на строительстве бомбоубежища. Перед этим был на площади Лассаля (пл. Искусств) - грузил песок. Но работы там было все же мало. Ребята вылепили из песка рожу Гитлера и стали бить ее лопатами. Я тоже присоединился к ним. Во Дворце опять таскал кирпич и песок. Ушел из Дворца в шесть часов. Придя домой, получил неожиданный сюрприз.

Еще в дверях ко мне подбежала Ира с криком: «Посмотри, что мне мама купила! А тебе не купила! Не купила!» Я пошел в столовую. На диване лежала купленная Ире матроска и кукла. На столе стояли новые Ирины сапоги.

Мама мне сунула какую-то записку в руки. Я машинально развернул ее. Это было заявление в военкомат о добровольном вхождении мамы и меня в ряды Красной Армии.

Оказывается, у мамы было утром партсобрание и все партийцы решили войти в ряды нашей Красной Армии. Никто не отказался. Сперва я почувствовал какую-то гордость, затем некоторый страх, наконец, первое пересилило второе. (...)

30. (...) Пошел в фонд. Там другая новость - меня, наверное, в армию не возьмут: мал, да еще плевроит; из-за того, что плохо себя чувствую, дает себя знать плевроит, освободят, наверное, от работы во Дворце и пошлют в лагерь.

1-18 июля. Ходил с Додей в кино, смотрел «Боксеры»... Ходил в зоосад, играл в бильярд, в шахматы... Почему-то сильно заболела грудь. Появился кашель. Пот так и льется днем и ночью... Город Остров, по всей вероятности, взят, так как появилось псковское направление. Каким фронтом командует Ворошилов?.. Маме приказано явиться на Балтийский вокзал для отправки в Кингисепп рыть окопы. Я провожал маму до вокзала.

19 июля. Вечером, когда мы вернулись домой, к нам неожиданно приехала из Шлиссельбурга Тина. Она будущий главврач больницы. Договорились, что, если с мамой что случится, она берет меня и Иру к себе... Говорят, будем учиться эту зиму (8, 9 и 10 классы). Особенно этому не верю. Тут бы быть живым.

Июль-август. Да... это, пожалуй, самая тяжелая, самая опасная для нас война. Многие будут стоять победа.

Прочел «Дворянское гнездо».



Доподлинно установить, как погиб Юра - а его младшая сестра до сих пор верит, что он мог и выжить, спастись, - не удалось никому. В последний раз 8-летняя Ира видела старшего брата в начале января 1942 года.

Фото из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина.

Играл с Давидом в шахматы.

Мама дала мне денег, на которые я съел тарелку супа (борщ) и тарелку манной каши с маслом в столовой Дворца труда. Затем пришел домой. Дома учился давать мат слоном и конем. (...)

26, 27 августа. Новгород взят уже несколько дней тому назад. Ленинград подвергается опасности быть отрезанным от СССР. (...)

30 августа. (...) Мама меня хочет записать в военно-морскую спецшколу. Да я знаю, что медкомиссия меня не пропустит, и отказываюсь. Тяжело все же отказываться от своей мечты - моря, да нечего делать. Все попытки - зря. Пахнет пессимизмом. (...)

31 августа, 1 сентября. Занятия в школе 1 сентября, сегодня, не состоялись. Неизвестно, когда будут. С 1/IX продукты продают только по карточкам. Даже спички, соль и те по карточкам. Настает голод. Медленно, но верно.

Ленинград окружен! Немецкий десант, высадившийся в районе ст. Ивановская, отрезал наш город от всего СССР. (...)

Завтра мне должно было бы быть 16 лет. Мне - 16 лет!

2 сентября. Да, ничем необыкновенным мой день рождения не ознаменовался.

Мама дала мне 5 руб. в столовую. Решил себя порадовать. Пошел в магазин и купил шахматный учебник. А потом пришел в столовую - там ничего дешевого уже нет. Зато мама пришла вечером - мне два пирога принесла. Потом еще суп сварили - я и суп поел. Сыт, доволен! (...)

5, 6 сентября. Мама опять меня хочет устроить в морскую спецшколу, да я не желал бы туда идти. Ведь все равно в школу меня не примут, потому что я плохо вижу - раз, плевритные спайки в правом легком - два, ну да и еще кое-что. Чего же себя тешить радужными надеждами, а потом получать горькие плоды?

Ленинград обстреливается из дальнобойных орудий немцами. Так и бухают разрывы снарядов. Вчера снаряд попал в дом на Глазовской (К. Заслонова) улице, снес полдома. Финкельштейн с Никитиным приходили смотреть и рассказывали. Где-то снаряд попал в сквер - много убитых и раненых. Сегодня под вечер опять обстрел. Так и бухают снаряды где-то в стороне Московского вокзала, там, дальше, за ним. В очередях бабы говорят, что Гитлер обещал закончить войну к 7 сентября, т. е. к завтрашнему дню. Ну и слухи! А еще совсем недавно говорили то же самое, только дата была 2 августа. (...)

8 сентября. День тревог, волнений, переживаний. Расскажу все по порядку.

Утром мама прибегает с работы, говорит, что ее посылают на работу в совхоз, что в Ораниенбауме. Ей пришлось бы оставить меня и Иру одних. Она пошла в райсовет - ей дали там отсрочку до завтра. Потом мы договорились о спецшколе. Мама пошла в обком, оттуда завернула в спецшколу, а я завернул к Финкельштейну. У них в школе вышел номер. Ребятам было велено покрыть пол чердака известью. Но извести оказалось мало, и они решили разбавить ее. Но вместо извести они добавили суперфосфата. Произошла реакция. В результате выделился хлор. Ребятам пришлось ходить в противогазах по чердаку. Пришел Варфоломеев, разругался («Даром, что ли, я вас химии учил!»). Затем Додя пошел сдавать велосипед в армию (3 дня назад пришла повестка о «мобилизации» велосипеда).

Когда я вернулся домой, мама уже пришла. Она сказала мне, что, возможно, меня примут. Но я очень и очень сомневаюсь. Затем мама пошла опять куда-то.

И тогда-то началось самое жуткое.

Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел... 12 «юнкеров». Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы не прекращались. Я побежал обратно к себе. Там на нашей площадке стояла жена Загоскина. Она тоже перепугалась и прибежала вниз. Я разговорился с ней. Потом откуда-то прибежала мама, прорвалась по улице. Скоро дали отбой. Результат фашистской бомбежки оказался весьма плачевный. Полнеба было в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Мало-помалу огонь стихает. Дым, дым проникает всюду, и даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет от него.

Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда.

Сейчас настанет ночь, ночь с 8 на 9/IX. Что-то эта ночь принесет?

До 12 часов.

Только Ира легла спать, опять объявили тревогу. Мы спустились вниз, в 1 этаж. Быстро оделись. Сперва немного постреляли зенитки, затем стали выть и трещать самолеты. Все время по небу ходили прожекторы. Но ни один самолет не был сбит. Где-то опять бомбили. Все население нижних

двух этажей (исключая подвалы) было в коридоре 1 этажа. Долго, томительно тянулось время. Затем где-то, на дворе дома № 36, забили в рельс. Мы перепугались. Я, Маруська и Лидка надели противогазы и пошли на двор спрашивать, что такое. А на дворе постовой отвечает, что никакой химической тревоги не было. Так прошло около 2-х часов. Наконец мы решились и пошли домой. Тревога еще не кончилась. Зарево на востоке погасло, но то и дело со стремительной скоростью над городом проносились немецкие самолеты. Их обстреливали, а они носились и носились над городом. Сейчас я не знаю, что делать. Мама с Ирой легли спать не раздеваясь. Может, и я так сделаю. Не знаю. Да, эту неделю фашисты хотят сделать оставленной в памяти у нас, у всех ленинградцев. Видно, взять Ленинград с суши не удалось, так вот они и решили его с воздуха уничтожить.

9 сентября. (...)

На фронтах без перемен. Мы отбили какой-то город Ельно... И то хлеб.

Да, теперь Ленинграду отдыха не будет. Каждый день бомбить будут.

В нашу квартиру хотят вселить семью какого-то главного инженера треста. Жуки! Мама хочет наотрез отказать.

Сирена. Час - тревога. Отбой. Перерыв - десять минут. Опять тревога. Так можно вконец измучить население. А у нас в доме даже нет бомбоубежища.

Пожалуй, пристроюсь я в пожарную команду в школе. В спецшколу наверняка не попаду. Лягу, пока тихо. А там кто знает?..

15 сентября. Сегодня утром решил: в спецшколу не являться. Причину здесь не пишу. Я не знаю, чего стоило мне это решение. У меня и сейчас слезы на глазах стоят, но я все тянул с этим. Сейчас это кончено. Впрочем, не знаю. Ведь это какой удар маме! И вместе с тем я знаю, что решение правильное. (...)

16 сентября. Сегодня я совершил ужасную вещь - потерял 30!! рублей. 30!! рублей. Мама дала мне их на подсолнечное масло (у нее не было более мелких денег), а я их потерял... Теперь весь день я был этим огорчен. Денег и без того осталось - кот заплакал, а я еще теряю по столько рублей. (...)

17 сентября. Сегодня вечером произошло важное событие. В нашу квартиру вселяется управляющий стройтрестом. Некий И-в с женой из Московского района. Сегодня перетаскали к нам его вещи. Завтра сам явится, по всей вероятности. Маме пообещали пользование их бомбоубежищем и столовой. (...)

18 сентября. Сегодня был у Финкельштейна. Договорились с ним о дежурстве в школе. Завтра с 8 вечера до 8 утра. Вышел приказ о военной подготовке мужчин начиная с 16 лет. В первую очередь идут, однако, 17 и 18-летние. Вечером вышел новый приказ. В нем говорилось, что по Ленинграду начались уличные бои, что все от 16 лет (мужчины) и от 18 лет (женщины) должны идти на баррикады. Ну и дела!

Немцы опять обстреливали город из орудий. Был обстрелян Невский, мосты, Фрунзенский район. Баррикадами не продержаться. Устарели. Современная война требует авиации, танков, орудий, а баррикады? Тьфу!.. (...)

25 сентября. Сегодня я окончательно решил, что мне делать. В спецшколу не иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока еду на окопы. Через год меня берут в армию. Убьют - не убьют. После войны иду в кораблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику колебаний! Сегодня иду в школу к 8-ми. Если мама придет раньше, скажу ей мое решение. Все остальные исходы я продумал и отказался от них.

Кроме того: решил тратить на еду себе начиная с завтрашнего дня 2 рубля или 1,5.

Мое решение - сильный удар для меня, но оно спасет и от другого, еще более сильного удара. А если смерть, увечье - то все равно. Но это-то именно и будет, наверное, мне. Если увечье - покончу с собой, а смерть - двум им не бывать. Хорошо, очень хорошо, что у мамы еще есть Ира.

Итак, из опасения поставить честь на карту я поставил на карту жизнь. Пышная фраза, но верная. (...)

1 и 2 октября. (...) Мне - 16 лет, а здоровье у меня, как у шестидесятилетнего старика. Эх, поскорее бы смерть пришла. Как бы так получилось, чтобы мама не была этим сильно удручена.

Черт знает какие только мысли лезут в голову. Когда-нибудь, перечитывая этот дневник, я или кто иной улыбнется презрительно (и то хорошо, если не хуже), читая все эти строки, а мне сейчас все равно.

Одна мечта у меня была с самого раннего детства: стать моряком. И вот эта мечта превращается в труху. Так для чего же я жил? Если не буду в В.-М. спецшколе, пойду в ополчение или еще куда, чтобы хоть не бесполезно умирать. Умру, так родину защищая. (...)

13 октября. День прошел спокойно. Зато ночь дала себя знать. Вече-

ром от мамы я узнал очень интересную вещь. Она видела (...), которая теперь работает в госпитале. Предлагают мне поступить в этот госпиталь. Моя обязанность эскортировать больных с госпиталя в госпиталь. Ответственность за их доставку несу я один. За потерю кого-либо иду под суд. Разъезжаю по ночам, преимущественно на машине. Мне кладут зарплату - 20 рублей в месяц и рабочую карточку. Быть может, обед. День работать, день отдыхать. Я согласен. Нужда... (...)

На 2 и 1 постах я, Давид, Борис (...) и еще две какие-то женщины. Я и Давид сидели на ступеньках. О, эти тревожные бесконечные ночи: навсегда останутся они у меня в памяти. Полусвет, передо мной «летучая мышь» в ведре, лестница и сбоку окно... гулко бьют зенитки, ухо настороженно ловит каждый звук, тревожно бьется сердце при сильном свисте бомбы, и чутко настораживаешься, слыша завывание германского самолета. Окно все время озаряют вспышки, порой лестница и весь дом содрогаются и дрожат от близкого падения фугасной бомбы. И это каждую ночь... Хочется спать, есть, забыться, но снова что-то свистит под ухом, инстинктивно прижимаешься к стене, втягиваешь голову в плечи... и свист замирает. Затем вспышка озаряет окно, лестница вздрагивает, и только после этого приходит отдаленный гул взрыва.

Эту ночь было более-менее спокойно, и я с Давидом вышел на крышу. Только огляделись по сторонам, по небу прожекторы, и совершенно внезапно яростно зашипела бомба нарастающим звуком. В одно мгновение я и Давид были на чердаке, не ощущая ушибов от падения. Решив, что на чердаке оставаться опасно, мы сошли в лестничную клетку, и в это самое время раздался короткий свист и затем взрывы над нашими головами. Стало светлее, чем днем. Давид вперед меня сообразил, что это такое, и, схватив лопату, бросился тушить бомбу. Я тоже. Началась безумная горячка. Мы работали в густом едком дыму, который лез в глотку, щипал ее, залезал в самые легкие, по лицам шел пот, а мы все возились с бомбами. Я пробежал на 1-й пост. Там стояла какая-то женщина и кричала в испуге: «Бомба! Тушите!» Она схватывала горстями песок и бросала в горевшие кусочки термита. Я схватил лопату и в полминуты забросал все горевшее песком. Яркий свет сменился глубоким мраком. Кое-как выбравшись с чердака, ведя за руку женщину, я побежал на 2-й пост. Там уже все бомбы были потушены. Я выглянул на крышу - по ней сновало человек десять. Хотелось подышать свежим воздухом, очнуться, прийти в себя. Скоро тревога кончилась. Затем, затем ничего нового не произошло. Была еще

одна тревога, но безобидная для нас. После этого я и Финкельштейн завалились спать и проспали до утра. Разбудило радио, сообщая нам скверную новость: Вязьма пала. Наступление немцев продолжается.

Я узнал впоследствии, что на нашу школу упало 23 бомбы. (Я потушил две и помог затушить третью.)

14 октября. Сегодня дома безобразная сцена. Ира закатила истерику, что я вот ел в столовой треста, а она даже тарелки супа не съела в столовой - мама ей говорит, чтобы она успокоилась. Мне в то же время говорит, что Ире давали борщ в столовой и фасоль со шпиком, а Ира говорила, что ее от них тошнит, и не стала есть. А съела оставшиеся полплитки шоколада, и только. Сама не ест и на меня злится! «Я, - говорит, - голодная хожу!» А кто ей мешает пообедать? Мне уже мама начинает говорить, что надо привыкнуть к мысли, что если накормят человека днем тарелкой супа, то и будь доволен. А если мне к этой мысли не привыкнуть?.. Я не ем даже половины, четверти того, чтобы себя насытить... Эх, война, война...

Сейчас хмурая пасмурная погода. Морозит, идет снежок. (...)

17 октября. (...) Ленинград полностью отрезан от СССР, на Ленинградском фронте еще ничего, держатся. В Ленинграде кончаются запасы продовольствия, скоро, пожалуй, пойдут голодные смерти, эпидемии и т. п. С тоской вспоминаешь, что не эвакуировались. Я боюсь сейчас даже вперед заглядывать - живешь одним днем.

Завтра в школе откажусь от ночных дежурств из-за неимения теплой обуви. Сейчас простудиться совсем не время.

От голода так и скребет в животе и слюна течет. А ведь я сегодня все-таки пообедал в трестовской столовой. Сказывается отсутствие хлеба в первую очередь. Сегодня мама покупала пряники, так они сделаны из овса да немножко сахара. Хорошо, что такие. Жить по такой норме я согласился бы на время, хотя бы года на три, но чтобы не уменьшать норм, а ведь это обязательно будет... (...)

20 октября. Утром скучал, походил в поисках кваса, замерз и возвратился домой. Дома мороз. Был в пальто. Брал обед в столовке треста: щи да свекла. Поел, посидел, пошел к маме. Там взял из фонда Вольтера и Дюма «Графиня Монсоро» и «Сорок пять» - ее окончание. Пообедал в столовке там. Поел супа-овсянки. Затем пошел домой. Пришел - тревога. Почитал Вольтера. Да, перед этим заходил Игорь. Он сказал, что занесет карточку вечером, ну да не верю больше этому. В магазинах на III декаду все еще не дают. Вечером произошла весьма выдающаяся вещь. Я, как написал

выше, принес из фонда Дюма. Принес себе, так как читать мне нечего. И вот входит в комнату, как полновластная хозяйка, Анфиса Николаевна, говорит: «Я, Нина Михайловна, брала у вас Золя, вот вам обратно» (книгу эту дал ей я - но это еще ничего). Подходит она к столику, берет Дюма и говорит: «Нина Михайловна, я у вас возьму Дюма, мне читать нечего». А мама так и рассыпалась в похвалах этой книге, так ее и хвалит. Только возьмите. Меня взбесило. Я стал возражать (с улыбкой на лице! - до чего приходится унижаться), что эту книгу я хочу читать сам, но мама стала кричать на меня, что я могу читать Вольтера и т. д. Я ничего не мог сделать. Анфиса Николаевна забрала книгу и ушла. Я сейчас более-менее неплохо понимаю политику этой Анфисы Николаевны. Белыми нитками она шита. Она, во-первых, желает видеть, что мы превратимся перед нею в услужливых, мягко выражаясь, людей, и приучает нас к этому. Во-вторых, она, видя, как мы нуждаемся в хлебе, сахаре и т. п., в то время как сама она ест сытно, ничего не желает «дать» - ну, предположим, она очень и очень эгоистична, а, впрочем, может, она права. С тех пор как мама взяла у нее стакан драже, пообещав отдать, и не отдала, она категорически про себя решила не давать нам ни кусочка. И мне теперь становится стыдно, когда я вижу, как мама пьет воду, а А. Н. стоит рядом и рассказывает о театре, в то время как мама говорит: «Ну вот, дожили до ручки...»

Быть может, во мне говорит моя гордость, но я не могу без какой-то злости смотреть на это. И что хуже - я сам иногда так делаю. Эта Анфиса Николаевна похожа на толстенькую, сытенькую кошечку, которая разлеглась на диване и как будто говорит: «Ну-ка пощекочите меня». Она обо всем включительно передает своему мужу (исключая, ясно, себя), а тот (ночная кукушка всех перекукует) делает, как она хочет, сам того не замечая. Сейчас произошел еще один интересный номер: Игорь обещал нам карточку 1 категории и говорил мне, что занесет ее сегодня вечером, а она пришла к маме и прямо ей в лицо говорит: «Игорь карточки вам дать не может, так как она (...) отобрана». Как пить дать старается для себя. Она не привыкла за услугу платить услугой, а привыкла принимать от других услуги, ничего, кроме лестных слов, обратно не преподнося. Мама, я просто не знаю, что это такое, отдала ей большой кочан капусты, а (...), которая относится к нам действительно по-товарищески, дала маленький... (...)

22 октября. Все утро проторчал в очередях за пивом. С трудом пополам достал 2 бутылки, отморозил ноги. Потом 3 талона на крупу. Вечером

дежурил в школе. Тревог не было. Таганрог взят немцами. Наступление немцев продолжается...

Зачитался романом А. Дюма «Графиня Монсоро». Увлекательная вещь.

Мама 2 бутылки пива выменяла на 400 гр. хлеба. Меня опять в очередь за пивом посылают.

23 октября. Достал еще 2 бутылки пива. Был в кино. Смотрел «Праздник святого Иоргена». Читал «Графиню Монсоро»...

Дома и холод и голод. Все вместе.

24 октября. Весь день с 10 утра до 6 вечера вместо дежурства в школе провел в очереди за пивом. Не было времени даже постоять в милиции за паспортом. И все-таки пива не достал. Вечером пришла мама, истратила еще один кочан капусты. Кое-как заморил червячка. В сводках ничего особого нет. Мама мне говорила, что ЦК союзов эвакуирован в Куйбышев. Представляю себе положение в Москве.

Чаю дают 12,5 грамм в месяц на человека, яиц вообще не дают. Рыбы тоже. Сегодня интересно поведение Анфисы Николаевны. Подарила нам 3 оладьи из морковного пюре, которое достала в столовой треста, и 10 драже. Было с чем полкружки чая выпить. Написал письмо Тине. Попросил ее прислать посылку с сухарями или с картофельными лепешками. Надо думать устраиваться на работу. Об учебе на время придется забыть.

С Иррой странная вещь: днем и вечером под глазами синие потеки, коллет в левом боку от быстрой ходьбы и не может есть жидкого (супа). Мама хочет идти с ней к врачу.

Что? Какой сюрприз преподнесут немцы?.. Во всяком случае, немцы грозятся сжечь Ленинград за три дня непрерывной тревоги (слухи ползут от Чистовых, которым, работая в пригороде, волей-неволей приходилось читать сбрасываемые немецкие листовки).

Очереди всюду: за пивом, за квасом, за газированной водой. За перцем, солью (особенно за солью!), за горчицей. (...)

25 октября. Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился. Интересно, в пивных дают лимонад, приготовленный на сахарине или натуральных соках?

Эх, как хочется спать, спать, есть, есть, есть... Спать, есть, спать, есть... А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров - ему захочется еще чего-нибудь, и так без конца. Месяц тому назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колбасой, а теперь вот уж об одном хлебе... (...)

Мама мне говорит, что дневник сейчас не время вести. А я вести его буду. Не придется мне перечитывать его, перечитает кто-нибудь другой, узнает, что за человек такой был на свете - Рябинкин Юра, посмеется над этим человеком, да... (...)

29 октября. (...) Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо. А все из-за недоедания. Анфиса Николаевна сегодня вечером проронила интересные слова: «Сейчас все люди - эгоисты, каждый не думает о завтрашнем дне и поэтому сегодня ест как только может». Она права, эта кошечка.

Я сегодня написал еще одно письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картофельных лепешек, дуранды и т. п. Неужели эта посылка - вещь невозможная? Мне надо приучаться к голоду, а я не могу. Ну что же мне делать?

Я не знаю, как я смогу учиться. Я хотел на днях заняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба. Сейчас я бы должен был прочесть снова рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Прекрасная вещь, а для моего сегодняшнего настроения как нельзя более лучшая. Говорят, что на ноябрьских карточках все нормы прежние. Даже хлеба не прибавили. Мама мне сказала, что, если даже немцы будут отбиты, нормы будут прежние...

Да, немцы, наверное, объявят непрерывную бомбежку 7 и 8 ноября. А перед тем вдоволь измучают население артиллерийскими набегами да бомбежкой. Готовят нам на праздник сюрприз.

Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю разок утром лицо, рук мылом не мою, не передеваюсь. В квартире у нас холодно, темно, ночи проводим при свете свечки.

Но самое обидное, самое что ни на есть плохое для меня - это то: я здесь живу в голоде, в холоде, среди блох, а рядом комната, где жизнь совершенно иная - всегда хлеб, каша, мясо, конфеты, тепло, яркая эстонская керосиновая лампа, комфорт... Это называется завистью - то, что я чувствую при мысли об Анфисе Николаевне, но побороть ее не могу.

Мне не к кому идти. К товарищам? У меня их нет. Вовка в Казани, Мишка - на работе. А такие (...) - эгоисты до глубины души, зачем к ним идти?.. Но во мне опять просыпается зависть, даже злость, горькая-прегорькая обида.

1 ноября. (...) Сегодня, 1-го, меня встретил неприятный конфуз, меня

не пустили в столовую треста до 2-х часов. А в 2 часа в столовке уже кончилось картофельное пюре, и мне пришлось довольствоваться двумя тарелками чечевичной похлебки. Купил 3 пузырька с пертусином. Это смесь рома с валерьянкой и каплями датского короля. Чрезвычайно сладкая и питательная вещь, 2 пузырька уже выпил, остался один...

5 ноября. (...) На сегодня надо было прочесть «Мертвые души» Гоголя, но при тусклом свете свечки невозможно читать. Пишешь машинально. Многие новости не знаю. Говорят: «XXIV годовщина решает все...»

Что такое человек и человеческая жизнь? Что же, в конце концов? «Жизнь - копейка» - говорит старинная поговорка. Сколько человек жило до нас и сколько их должно было умереть... Но хорошо умереть, чувствуя и зная, что ты добился всего, о чем мечтал в юности, в детстве, хорошо умереть, зная, что остались последователи в твоих научных или литературных трудах, но ведь как тяжело... На что надеется сейчас Гитлер? На создание своей империи, самый замысел которой будет проклят человечеством будущих дней. И вот из-за какой-то кучки авантюристов гибнут миллионы и миллионы людей! Людей!.. Людей!!!

Уже поздно. Артиллерийская стрельба на время стихла. Свеча догорает. Голод, холод, темнота, грязь, вши и перспектива: багровое будущее, окутанное темной пеленой.

6, 7 ноября. (...) Занятия в школе продолжаются, но мне они что-то не нравятся. Сидим за партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат. На литературе интересен тот факт, что ребята рассказывают образы из «Мертвых душ» по учебнику, где они есть. Некоторые даже вообще не читали «Мертвые души»...

Оказывается, рисовой каши больше у нас не осталось. Значит - 3 дня буду сидеть голодом полнейшим. Еле ноги буду таскать, если буду жив-здоров. Опять перешел на воду. Распухну, ну да что же... Мама заболела. И не на шутку, раз сама признается в своей болезни. Насморк, кашель с рвотой, с хрипом, жар, головная боль...

Я тоже, наверное, заболел. Тоже жар, головная боль, насморк. Все из-за того, по всей вероятности, что, бывши на школьном дежурстве, мне пришлось пройти через три двора без пальто и шапки. А дело было в полночь, мороз...

Учеба мне почему-то сейчас в голову не лезет. Совершенно нет желания учиться. Голова одними мыслями о еде, да о бомбежках, снарядах занята. Вчера поднял корзину с сором, вынес во двор и еле обратно на

свой 2 этаж взобрался. Устал так, словно 2 пуда волок целых полчаса, как кажется, сел и еле отдышался. Сейчас тревога. Зенитки бьют всюду. Бомб несколько также было. На часах - без пяти 5 вечера. Мама приходит в начале 7-го.

9 и 10 ноября. Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще перед сном - мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба... Мама мне каждый день твердит, что она с Ирой ест по 2 стакана горячего, с сахаром чая, по полтарелки супа в день. Не больше. Да еще что тарелку супа вечером. Все же мне. (...) Ира, например, вечером даже отказывается от лишней порции супа. А мне они обе твердят, что я питаюсь, как рабочий, мотивируя тем, что я ем 2 тарелки супа в столовых да побольше, чем они, хлеба. Весь характер мой почему-то сейчас круто изменился. Стал я вялый, слабый, - пишу, а рука дрожит, иду, а в коленках такая слабость, кажется - шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь.

9 и 10 ноября (продолжение). И все же я могу твердо сказать, что не будь рядом со мной сытых, я к этому всему привык бы. Но когда каждый звук, почти (...) задевает чем-то веселым, сытным. Перед собою, сидя в кухне, я вижу на плите кастрюлю с недоеденными обедами, ужинами и завтраками, что оставляет после себя Анфиса Николаевна, я не могу больше... Разрываюсь на части, буквально, конечно, нет, но, кажется... И запах хлеба, блинов, каши щекочет ноздри, как бы говоря: «Вот видишь! Вот видишь! А ты голодай, тебе нельзя...» Я привык к обстрелу, привык к бомбежке, но к этому я не могу привыкнуть - не могу! (...)

И опять сейчас мне в уши бьет веселый смех Анфисы Николаевны... Мама вчера одолжила кусочек сахару у Анфисы Николаевны, сегодня хочет одолжить у Кожинских. Но сегодня - последний день декады. Завтра - будет свой сахар, хлеб... и хлеб!! Через ночь...

У нас не выкуплено на эту декаду 400 г крупы, 615 г масла, 100 г муки... а этих продуктов нигде нет. Где они выдаются, возникают огромные очереди, сотни и сотни людей на улице, на морозе, а привозят (...) чего-нибудь в этом роде человек на 80-100. А люди стоят, мерзнут и ни с чем уходят. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. И больно, а ничем не можешь. Сейчас тревога. Она уже длится часа два. Нужда, голод заставляют идти в магазины, на мороз, в длинную очередь, в людскую давку... Провести так недели, а затем уже никаких желаний не останется у тебя. Останется тупое, холодное безраз-

личие ко всему происходящему. Недоедаешь, недосыпаешь, холодаешь и еще к тому же - учишь. Не могу. Пусть мама решает вопрос: «Как быть?» Не в силах решить - сам попробую за нее. И вечер... что он мне готовит? Приходит мама с Ирой, голодные, замерзшие, усталые... Еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет... И ругань, уговоры, что вот внизу кто живет, достали крупу и мясо, а я не мог. И в магазинах мясо было, а я не достал его. И мама разводит руками, делает наивным лицом и говорит, как стонет: «Ну а я тоже занята, работаю. Мне не достать». И опять мне в очередь, и безрезультатно. Я понимаю, что я один могу достать еду, возвратиться к жизни всех нас троих. Но у меня не хватает сил, энергии на это. О, если бы у меня были валенки! Но у меня их нет... И каждая очередь приближает меня к плевриту, к болезни... Я решил: лучше водянка. Буду пить, сколько могу. Сейчас опухшие щеки. Еще неделя, декада, месяц, если к Новому году не погибну от бомбежки - опухну.

Я сижу и плачу... Мне ведь только 16 лет! Сволочи, кто накликал всю эту войну...

Прощай, детские мечты! Никогда вам ко мне не вернуться. Я буду сторониться вас как бешеных, как язвы. Сгинуло бы все прошлое в тартарары, чтобы я не знал, что такое хлеб, что такое колбаса! Чтобы меня не одурманивали мысли о прошлом счастье! Счастье!! Только таким можно было назвать мою прежнюю жизнь... Спокойствие за свое будущее! Какое чувство! Никогда больше не испытать...

Как я хотел бы, чтобы Тина взяла и прочла дневник у себя в комнате в Шлиссельбурге за чаем с бутербродом! Того, что переживаем мы в Ленинграде, ей еще вовек не приходилось переживать.

Сегодня вечером после тревоги ходил в магазин, что на Сенной. В рукопашной схватке в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, стонали, рыдали взрослые люди, удалось ценой невероятных физических усилий протиснуться, пробиться без очереди в магазин и получить 190 г сливочного масла и 500 г колбасы из конины с соей. Когда я пришел домой, почувствовал сильные боли в груди, точно такие, какие я испытывал два года тому назад. У меня и так действительно сухой плеврит. Боли сильные, ну точь-в-точь такие, как прежде. Что за мучение! Завтра непременно пойду в тубдиспансер. В конце концов, я не хочу сейчас помирать от плеврита. Что я могу поделать? Что? Я бессилен... Против плеврита есть только два сильных средства: 1) отличное питание с обилием жиров и 2) воздух сухой, чистый, теплый. И оба средства отсутствуют...

Мама с Ирой «позавтракали» и идут на работу. Я пойду в тубдиспансер. Впрочем, перед этим позавтракаю в «комфорте и уюте». Почитаю.

...Сегодня достал 4 литра пива по карточкам, отдал их Анфисе Николаевне. И из них она мне дала выпить пол-литра. Мне понравилось. Право, будь это в былые времена, я стал бы добросовестным алкоголиком.

Да, забыл сказать самое главное. У мамы распухли ноги и стали твердыми, как камень. Вот дела-то! (...)

...К 5 часам утра надо идти в очередь (...) обязательно. Все мы издерганы. У мамы я давно не вижу спокойных слов. Чего ни коснется в разговоре - ругань, крик или истерика, что-то в этом роде. Причина... Причин много - и голод, и вечный страх перед обстрелом и бомбежкой. В нашей семье - всего-то 3 человека - постоянный раздор, крупные ссоры... Мама что-то делит, Ира и я зорко следим - точно ли... Просто как-то не по себе, когда пишешь такие слова. (...)

26 ноября. (...) Меня сегодня мать Штакельберга назвала круглым дураком, что я не ворую у И-вых. «Я бы, - говорит, - и не посмотрела».

Вместо растительного масла дают повидло. Очереди. Эх, достать бы где кокосового жиру! Где-нибудь...

Мама написала заявление на предоставление ей места в самолете для вылета из Ленинграда. Чувствую, что дело провалится, хотя какая-то тайная надежда есть на освобождение, но я все-таки угнетен разными плохими мыслями.

У меня мама потребовала Ирину карточку, хлебную. Хотят лишить меня печенья. Ну что ж... Раз только стоит Ире получить печенье, и она уже за него так уцепится, что не видать мне его больше... Опять пойдут гнусные, грязные сцены с дележкой, ей меньше, ей больше... Ну, положим, завтра я еще печенье получу, а с послезавтра начиная, кончайся моя и без того непривлекательная жизнь. Какая же жизнь, когда и печенье меня лишат... Вот теперь иди в магазин, доставай картофельной муки да кокосового масла или повидла, а они каждый день будут жаловаться, что они устали и т. д. Ирка обеими руками уцепится за печенье... (...)

28 ноября. Был в тубдиспансере. Меня отправили на рентген и на анализы. Что будет дальше - не знаю.

Сегодня буду на коленях умолять маму отдать мне Ирину карточку на хлеб. Буду валяться на полу, а если она и тут откажет... Тогда мне уж не будет с чего волочить ноги. Сегодня дневная тревога опять продолжается что-то около трех часов. Магазины закрыты, а где мне достать картофель-

ной муки и повидла? Пойду по окончании тревоги порыскаю. Насчет эвакуации я потерял надежду. Все это одни лишь разговоры... В школе учиться брошу - не идет учеба в голову. Да и как ей пойти? Дома голод, холод, ругань, плач, рядом сытые И-вы. Каждый день так удивительно похож на предыдущий однообразностью, мыслями, голодом, бомбежкой, артобстрелами. Сейчас выключилось электричество, где-то, я слышу, жужжит самолет, бьют зенитки, а вот дом содрогнулся от взрывной волны разорвавшейся неподалеку бомбы... Тусклая, серая погода, белые, мутные, низкие облака, снег на дворе, а на душе такие же невзрачные серые мысли. Мысли о еде, о тепле, об уюте... Дома не только ни куска хлеба (хлеба дают теперь на человека 125 г в день), но ни одной хлебной крошки, ничего, что можно съесть. И холод, стынут руки, замерзают ноги...

Сегодня придет мама, отнимет у меня хлебную Ирину карточку - ну ладно, пожертвую ею для Иры, пусть хоть она останется жива из всей этой адской (...), а я уж как-нибудь... Лишь бы вырваться отсюда... Лишь бы вырваться... Какой я эгоист! Я очерствел, я... Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?... Позавчера лазал ложкой в кастрюлю Анфисы Николаевны, я украдкой таскал из спрятанных запасов на декаду масло и капусту, с жадностью смотрел, как мама делит кусочек конфетки (...) и Ирой, поднимаю ругань из-за каждого кусочка, крошки съестного... Кем я стал? Я чувствую, чтобы стать таким, как прежде, требуется надежда, уверенность, что я с семьей завтра или послезавтра эвакуируюсь, хватило бы для меня, но это не будет. Не будет эвакуации, и все же какая-то тайная надежда в глубине моей души. Если бы не она, я бы воровал, грабил, я не знаю, до чего дошел бы. Только до одного я бы не дошел - не изменил бы. Это я знаю твердо. А до всего остального... Больше не могу писать - застыла рука.

29 ноября. (...) Меня поражает перемена в поведении Анфисы Николаевны. Так, например, вчера она дала нам тарелку пшеничной каши и блюдце сухарей, не взяв за это ничего. Часто приносила из столовой треста какао, теперь оно исчезло. Сегодня я ей достал повидла, она дала мне за это грамм 50 его. В общем, я сейчас серьезно чувствую ее помощь. Если бы мы прожили еще полгода вместе, быть может, мы бы совсем подружились с ней. Впрочем, кто ее знает?.. Ведь факт остается фактом, что на днях ее в Ленинграде уже не будет. Время позднее. Вечер. Покушали киселя из картофельной муки с повидлом, что я сегодня достал, и сухарей, что дала Анфиса Николаевна, тоже с повидлом.

Завтра Ира получает по карточке 250 г печенья. Сколько, а! Ну что ж, пусть поест их. Пусть...

Сегодня мама сказала, что ей подано заявление на разрешение о вылете. Что выйдет - неизвестно. Надеюсь на лучшее... (...)

30 ноября. У мамы настроение явно эвакуационное. Вчера она много толковала об эвакуации с Анфисой Николаевной. Та ей дала, вернее, пообещала дать адрес своих родителей, живущих у Златоуста. Хоть это и не хлебный район, но голод там, вероятно, все же не такой, как здесь. Но все зависит от резолюции, которую поставят на мамино заявление. Это ясно. Ответ должен быть самое позднее через неделю.

Анфиса Николаевна дает нам каждый день штук восемь сухарей, сегодня дала кусок конины и бутылку растительного масла. Спасибо ей за это все. (...)

Итак, начинается разгром Германии. И под Москвой, и под Ростовом, и под Ленинградом. Чтобы поскорее лопнула бы эта фашистская свинья, черт бы ее побрал! Но когда она лопнет, то от нее повеет такой смрадный дым, что никого в живых не останется.

Завтра надо идти в школу. Обязательно. Если дело коснется эвакуации, то меня выпустят из города лишь в случае, если я буду учащимся. Поэтому необходимо посещать школу.

Как бы я сейчас поел хлеба... Хлеба... Хлеба...

1 декабря. Наступил новый месяц. Настала новая декада. Пишу утром. Сегодня был в школе в 8 ч. утра. Мне сказали, что с сегодняшнего дня занятия в школах начинаются с 10 часов, а пуск в школу без двадцати 10. Я пошел домой. Зашел в столовку треста. Там горячий чай с шоколадной конфеткой. На конфетку отрезают 10 г кондитерских изделий. Пошел домой. В половине десятого хотел идти в школу, но дали тревогу. Сейчас, когда я это пишу, тревога продолжается, 10 часов уже, наверное, было.

Я сейчас так дорожу своей энергией, что для меня представляется важным даже решение сходить по коридору в столовую. Во всем теле чувствуется слабость. Ноги тяжелые, коленки слабые, тяжело подняться со стула, во всем теле слабость. И часов до 6-7 вечера, вероятно, не придется ничего есть. Дома масло мама запрятала, я его поискал и не нашел, а сырую конину есть не могу. Если тревога продолжится еще часа 2, в школу не пойду. Какой смысл? А впрочем, следовало бы. Захватчу с собой лишь часть учебников.

Значит, немцы теперь будут начинать налеты с 10 часов утра, вернее, с половины десятого. А в школу мне надо выходить точно в такое же время. Как быть?

Хочу все же подытожить, чему научил меня ноябрь месяц и чем отличается 30 ноября от 30 октября. (...) Если эвакуация 30 октября казалась чем-то отвлеченным мне, то сейчас это вопрос недели... Итак, за истекший месяц можно сказать, что этот месяц, месяц страданий и слез, семейных ссор и голода, вымотал из меня половину тех сил, которые были у меня перед ним. Я ни разу не наелся досыта за весь этот месяц. Не прошло ни одного дня без того, чтобы не было бомбежки и артиллерийских обстрелов, не было ни одного дня, не омраченного, кроме голода, страхом за свою и мамину с Ириной жизнь. (...)

2 декабря. Что за пытку устраивают мне по вечерам мама с Ирой?.. За столом Ира ест нарочито долго, чтобы не только достигнуть удовольствия от еды, но еще для того, чтобы чувствовать, что она вот ест, а остальные, кто уже съел, сидят и смотрят на нее голодными глазами. Мама съедает всегда первой и затем понемножку берет у каждого из нас. При дележке хлеба Ира поднимает слезы, если мой кусочек на полграмма весит больше ее. Ира всегда с мамой. Я с мамой бываю лишь вечером и вижу ее утром. Быть может, и поэтому Ира всегда правая сторона... Я, по всей видимости, эгоист, как мне и говорила мама. Но я помню, как был дружен с Вовкой Шмайловым, как тогда я не разбирался, что его, а что мое, и как тогда мама, на этот раз мама сама, была эгоисткой. Она не давала Вовке книг, которых у меня было по две, и т. д. Почему же с тех пор она хотела так направить мой характер? И сейчас еще не поздно его переломить...

Я раньше должен был съесть 2 или 3 обеда в столовках за день плюс еще сытный ужин да завтрак, да так, подзакусить, чтобы быть сытым день. А сейчас я удовлетворяюсь 100 г печенья утром, ничем днем и вечером тарелкой супа или похлебки. Кроме того, вода. Вода под названием чай, кофе, суп, просто вода. Вот мое меню.

А насчет эвакуации опять все заглохло. Почти. Мама боится уже ехать. «Приедешь, - говорит она, - в незнакомый край...» - и т. д. и т. п.

3 декабря. Заболела мама. Сегодня она не вышла и на работу. Температура, ломит кости, тяжесть в ногах... Не водянка ли? И так тяжело, а... Больше ничего не могу писать. Такое упадочное настроение. Сажу в кухне, трещат дрова в печке, а на сундуке рядом лежит больная мать... Боже мой!

По сводке Тихвин взят немцами. Севастополь продолжает обороняться.

Мама больна, Ира - ребенок, от Тины ничего нет, неизвестен и ее адрес, я изнемогаю, изнурен, еле держусь на ногах... Что-то будет дальше?..

4 декабря. Весь день в работе. Встал рано, обегал булочные, достал сахарного печенья, затем ходил на ул. Правды в поликлинику, хотел вызвать врача для мамы - не тот участок, к которому мы принадлежим. Пришлось съездить еще на пер. Матянина, в другую поликлинику. Затем опять очередь, колка дров, страдания.

Мама уволена из обкома (в связи с ожидавшейся эвакуацией). Насчет ее эвакуации и теплой одежды. (...) Лежит больная. Врач, приходивший к ней, нашел у мамы грипп, сердечную слабость, откуда опухоль на ногах, боли в боках и т. д. Лечение - питание. А его нет. Итак, мама слегла, у нее тяжелая болезнь, она лишена работы; возможно, что эвакуация пешком будет, но маме с ее опухшими ногами и болезнью, Ире с ее малой силой, мне со всеми остальными заботами о них и о себе, людям с 60-килограммовым, если не больше, багажом, не пройти далекого трехсоткилометрового снежного пути, не пробыть месяца в дороге... И вот финиш всей нашей жизни: замерзшие в дороге и оставшиеся больными в какой-нибудь захолустной больнице или истощенные ежедневным голодом, опухшие, еле влачащие свое ставшее жалким существование... (...)

5 декабря. Мама права, надо верить всегда в лучшее. Сейчас надо верить, что мы эвакуируемся. Так должно быть. И будет. Хотя мама еле ходит - она поправится, хотя Ира жалуется на боли в левом боку - пройдет. Хотя я и мама не обуты, у нас нет валенок и теплых вещей - мы вырвемся из этого голодного плена - Ленинграда. Но сейчас уже вечер, идет тревога, бьют зенитки, рвутся бомбы... Разыгрывается жутчайшая лотерея, где выигрыш для человека - жизнь, а проигрыш - смерть. Такова жизнь. И-вы завтра не уезжают. Они уедут на днях. Счастливые люди...

Голод. Жестокий голод!

Понемногу, мало-помалу передо мной встает образ Анфисы Николаевны. Из ее ссор с мужем, во время которых оба раскрывают часть своей жизни, из разговоров с ними, а теперь из глубины души исходившего горестного рассказа И-ва несколько встал из тумана передо мной этот образ.

Анфисе Николаевне 27 лет. 14-ти лет она уже любила, вернее, была любовницей какого-то грубого человека, который силой и грубостью

приучил ее еще тогда к алкоголю. С тех пор она уже не могла оторваться от вина, водки и т. д. С ней были горячки, она валялась пьяная под забором... Но она была дьявольски красива и обворожительна в трезвом виде. Такой, по всей видимости, встречает ее И-в. Он бросает для нее свою прежнюю жену и дочь, получая письмо, в котором она умоляет его под влиянием какого-то обновления «вырвать ее из этой грязной ямы», жениться на ней. И вот жизнь для нее наступает новая. Муж получает 2000 р. в месяц, жена тратит по 40 р. в день. Езда по санаториям, всевозможные попытки отучить жену от пьянства, ссоры из-за денег... И. сам по себе человек немного неуравновешенный, когда-то он был даже в психиатрической больнице. А жена часто оставляла его перед зарплатой совершенно без денег, пропивая их. Но вместе с тем Анфиса несомненно человек, который в трезвом виде изумителен по характеру. Возможно, что это, конечно, притворство, но все-таки... Во всяком случае, Анфиса Николаевна - это очень трудный по раскрытию характера человек.

6 декабря. 11 часов утра. И-вы не уехали. Отъезд их отложили на 2-3 дня. Мама с Ирой отправились в обком. Маме теперь нужно хлопотать о многом. Разрешение на выезд, вылет на самолете или присоединение к партии И-ва, теплая одежда для мамы и бурки мне, приделать замок на дверь. Но у мамы уже совсем мало энергии. Для энергии нужна еда. Еда прежде всего. Она - источник единственный энергии в организме.

Конечный пункт эвакуации у мамы намечен. Это Барнаул, его окрестности. Все дело лишь сводится вообще-то к двум вещам: как ехать и в чем ехать. Тураносова должна была вылететь сегодня утром. Ответ из Смольного, наверное, еще не получен. Это плохо. Хорошо бы, если б нас приписали к группе И-ва.

Маме еще предстоят две трудности. Первая - это обеспечить финансовое наше положение за счет обкома и продажи некоторых вещей, а вторая - договориться насчет увольнения, что гораздо проще.

Итак, задержка из-за теплых вещей - раз и из-за способа эвакуации - два. Но еще главный вопрос - это еда. Без нее нам не двинуть ног... Мы можем продержаться лишь до числа 13, 14, не позже, или до числа 9, 10...

Анфиса Николаевна дала нам вчера граммов 300 гороха, думая, что сегодня уедет. Вот дала бы граммов 800-900!

Мне предстоят еще очень большие трудности. Очиститься от вшей, сходить в баню, в парикмахерскую, убрать книги, достать дрова, выкупить продукты, свести концы со школой. Чувствую, что уже очень недол-

го осталось мне до того дня, когда я надорвусь и слягу. Но если я слягу, то уж слягу. (...)

7 декабря. (...) Эта декада будет решающей для нашей судьбы... Главнейшие задачи, которые следует разрешить, это в чем ехать и с кем ехать. Эх, если бы я хоть раза два подряд покушал досыта! А то откуда мне взять энергию и силу для всех тех трудностей, что предстоят впереди... Мама опять больна. Сегодня спала всего-навсего три часа, с трех до шести утра. Мне просто было бы необходимо сейчас съездить к Тураносовой за обещанной теплой одеждой. Но такой мороз на улице, такая усталость в теле, что я боюсь даже выйти из дома.

Начал вести я дневник в начале лета, а уже зима. Ну разве я ожидал, что из моего дневника выйдет что-либо подобное?

А я начинаю поднакоплять деньжонки. Сейчас уже обладаю 56 рублями наличности, о наличии которых у меня ведаю один лишь я. Плита затухла, и в кухне мало-помалу воцаряется холод. Надо надевать пальто, чтобы не замерзнуть. А еще хочу ехать в Сибирь! Но я чувствую, что дай мне поесть - и с меня сойдет вся меланхолия, все уныние, слетит усталость, развяжется язык, и я стану человеком, а не подобием его... (...)

Сейчас я похудел примерно килограммов на 10-15, не больше. Быть может, еще меньше, но тогда уже за счет чрезмерного потребления воды. Когда-то раньше мне хватало полтора стакана чая утром, но сейчас не хватает шести.

8 декабря. А сегодня... сегодня я потерял карточку на масло Сухарева, ту самую, которую мама нелегально себе присвоила на первую декаду. И вот... что теперь делать? Боюсь, смертельно боюсь, что вся эта история с присвоением карточки Сухарева всплывет, и тогда... Жизнь моя обрушится, так же как и жизни мамы и Иры... Я ее потерял - точно знаю - в столовке треста. Быть может, оставил в руках у буфетчицы. Только бы дело не пошло дальше... Только бы... Не знаю, говорить ли с мамой на эту тему. Если у мамы хорошее будет настроение - это мало очевидно, - то поговорю, если нет - об утере умолчу.

Боль, жестокая боль во мне от этой карточки!.. Больше ни о чем не могу и думать.

И еще финал (возможный): карточка оказывается потерянной дома и ее находит Анфиса Николаевна. У нее становится ясный вопрос: как к нам (больше не к кому) могла попасть эта карточка? Обращает внимание на печать - обком союза!.. А эта печать хранилась до последних чисел у

мамы. Доводит обо всем до сведения Николая Матвеевича, тот дознается, кто такой Сухарев, - и вот мама идет в трибунал, а там изгнание из партии, расстрел и т. п.

Сейчас три часа дня, а мама ушла на работу в девять утра. Чем-то она занята? Неужели ни на шаг этот день не подвинет к нам эвакуацию? Ехать, ехать, ехать! Насущный вопрос. Теплая одежда, без теплой одежды никуда не выедешь.

9 декабря. Карточка нашлась у мамы. Я по ней вчера выкупил 200 г сметаны. Вчера и съели. Да, сегодня еще вот подъели вчерашние 100 г жира да дай бог, чтобы 15 г осталось.

Вчера мама достала и принесла два ватника и теплых штанов. Очередь за валенками. (...)

Обком выдал маме на эвакуацию денег. Вчера мы считали деньги, у нас наличностью было 1300 с лишним рублей. С 10 декабря мама лишается работы. Я думаю, что если бы был положительный ответ из Смольного, то я бы был так счастлив, как никогда. Этот ответ должен быть, обязан быть, он будет, потому что... да и как ему не быть?! «Кто хочет - тот добьется, кто ищет - тот всегда найдет!»

Хорошо бы улететь 12-го. 11-го выкупить все конфеты на новую декаду и улететь, грызя их. Пожалуй, тогда у меня даже воспоминания об этой жуткой голодовке как-то смягчатся. А ведь что со мной было? Ел kota, воровал ложкой из котелков Анфисы Николаевны, утаскивал лишнюю кроху у мамы и Иры, обманывал порой их, замерзал в бесконечных очередях, ругался и дрался у дверей магазинов за право пойти и получить 100 г масла... Я зарастал грязью, разводил кучу вшей, у меня не хватало энергии от истощения, чтобы встать со стула, - это была для меня такая огромная тяжесть! Непрерывная бомбежка и обстрелы, дежурства на школьных чердаках, споры и сцены дома с дележом продуктов... Я осознал цену хлебной крошки, которые подбирал пальцем по столу, и я понял, хотя, быть может, и не до конца, свой грубый эгоистичный характер. «Горбатого одна могила исправит» - говорит пословица. Неужели я не исправлю своего характера? (...)

10 декабря. Декада к концу. А дела наши с эвакуацией... Вопрос все еще остается открытым. Как это мучительно! Знаешь, что с каждым днем твои силы иссякают, что ты изнемогаешь от недоедания день ото дня все больше и больше, и дорога к смерти, голодной смерти, идет параболой с обратного ее конца, что чем дальше, тем быстрее становится этот процесс

медленного умирания... Вчера в очереди в столовой рассказывала одна гражданка, что у нас в доме уже пять человек умерло с голода... А самолеты летят до Вологды... Каждому прибывающему дается целых 800 г хлеба и еще сколько угодно по коммерческой цене. И масло, и суп, и каша, и обед... Обед, состоящий не из жидкости, а из твердых тел, именуемых: каша, хлеб, картофель, овощи... Какой это контраст с нашим Ленинградом! Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертельного голода, вырваться бы из-под вечного страха за свою жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в небольшой деревушке среди природы... забыть пережитые страдания... Вот она, моя мечта на сегодня. (...)

Несчастья не закалили, а только ослабили меня, а сам характер у меня оказался эгоистичным. Но я чувствую, что сломать мне сейчас свой характер не под силу. Только бы начать! Завтра, если все будет, как сегодня утром, я должен был бы принести все пряники домой, но ведь я не утерплю и хотя бы четверть пряника да съем. Вот в чем проявляется мой эгоизм. Однако попробую принести все. Все! Все! Все!!! Все!!! Ладно, пусть уж если я скачусь к голодной смерти, к опухолям, к водянке, но будет у меня мысль, что я поступил честно, что у меня есть воля. Завтра я должен показать себе эту волю. Не взять ни кусочка из того, что я куплю! Ни кусочка! Если эвакуации не будет - у меня живет-таки надежда на эвакуацию, - я должен буду суметь продержаться маму и Иру. Выход будет один - идти санитаром в госпиталь. Впрочем, у меня уже созрел план. Мама идет в какой-нибудь организуемый госпиталь библиотекарем, а я ей в помощники или как культработник. Ира будет при нас. (...)

...У меня такое скверное настроение и вчера и сегодня. Сегодня на самую малость не сдержал своего честного слова - взял полконфетки из купленных, а также граммов 40 из 200 кураги. Но насчет кураги я честного слова не давал, а вот насчет полконфеты... Съел я ее и такую боль в душе почувствовал, что выплюнул бы съеденную крошку вон, да не выплюнешь... И кусочек маленький-маленький шоколада тоже съел... Ну что я за человек! У мамы вчера сильно распухла нога, с эвакуацией вопрос открытый, в списки треста № 16 маму включить нельзя, одна надежда на Смольный. Смольный даст нам троим, маме, мне и Ирине, жизнь или смерть. У нас после сегодняшнего дня осталось только 200-300 г крупы на вторую декаду да 300 г мяса. Конфет тоже всего 650 г, правда, еще сахара Ирине 200 г должны получить. У мамы ее карточка уже полуиспользована на 2-ю декаду, в запасе лишь Иринина (150 г) да моя -180 г. А внешне

мы готовимся к эвакуации, собираем вещи, готовимся... (...)

Через две декады Новый год. Где-то будем мы, что будет с нами? В эту новогоднюю ночь осиротеют новогодние игрушки в диване, не будет для них елки, негде им будет показаться во всем своем блеске и наряде. Не до елки будет каждому человеку в Ленинграде в эту ночь. Как сон мы вспомним, если будем живы, прошлогодние рождественские вечера, елки с горящими свечами, обильный пряностями, закусками и другими сладостями ужин, какой всегда имел место на 1 января... Может быть, а впрочем, что загадывать наперед, что с тобой может случиться?.. Как проведет эту ночь Тина? Где будут ее мысли ровно в 12 часов ночи 31 декабря 1941 года, когда сорвется последний листок календаря и откроется новый чистый свежий календарь 1942 года?.. Время летит, летит... (...)

Страницы моего дневника подходят к концу. Кажется, что сам дневник определяет мне время своего ведения... (...)

12 декабря (продолжение). (...) 5 часов вечера, а мамы нет. Значит, это что-то плохое. Либо дело с карточкой всплыло, маму, быть может, даже задержали в бюро, либо с мамой произошел какой-нибудь несчастный случай, быть может, она сейчас уже в больнице или даже морге... Чем не играет судьба?..

И все это из-за карточки. А почему мама взяла эту карточку? Из-за меня, из-за моего голодного вида. Это я толкнул ее на преступление, я виновник смерти, быть может, или же будущей нищенской жизни мамы и Иры, горя Тины, не говоря уж о зле, причиненном самому себе. Я виновник всего этого! Если бы я не впадал в меланхолию, уныние, было бы не то. Под моим влиянием мама пошла на преступление, я должен перенять кару с нее на себя. Если и это не выйдет, если я погубил все наши жизни, я лишу себя жизни, я должен и могу это сделать. Пойти добровольцем в ополчение и хоть на фронте сделать доброе дело, погибнуть за родину. Погибнуть, не забыть отдать свой долг. «Любишь кататься - люби и саночки возить», «Что посеешь, то и пожнешь».

Если история с карточкой вышла, то я отправлю Тине следующую телеграмму-молнию: «При смерти. Помощь не нужна. Забудь нас. Юра». Но я так писал бы, коли был один. А ведь Ира. Наконец, мало ведь как можно испортить всю их жизнь? Умереть-то легко, а вот поставить Иру на истинный путь!.. Пишешь и чуть не плачешь. Вчера мама говорит: «У меня вся надежда на бога. Вот я и коммунистка, а в бога верую. И Ира тоже». Но на бога надейся, а сам не плошай. И все-таки я чувствую, что,

пожалуй, я тоже становлюсь религиозен, смотрю на икону и молю бога, чтобы отвлек от нас это несчастье.

А мамы нет и нет... Шестой ведь уже час вечера, ушла и вот до сих пор нету... А сегодня как раз артобстрел был где-то... (...)

13, 14 декабря. Пишу за два дня, что редко со мной теперь случается. Полдня провалялся в постели, вечером сходил в магазин и купил 6 плиток какао с сахаром из сои по 30 р. (пачка - 100 г) да еще 300 г сыру по 19 р. кг. По дороге домой случилось несчастье, так что я вернулся домой, имея при себе лишь 350 г какао да сыр. Была сцена с мамой и Ирой. Мама, вернувшись из райкома, сообщила, что мы занесены в список эвакуирующихся на автомашинах в колонну Наркомстроя, которая по обещанию райкома да райсовета пойдет 15-20 декабря. Завтра как будто еще решится о самолете. Дома еды нет никакой, кроме 100 г хлеба, которые мама выменяла на пачку табаку. (...)

15 декабря. Каждый прожитый мною здесь день приближает меня к самоубийству. Действительно, выхода нет. Тупик, я не могу дальше продолжать так жить. Голод. Страшный голод. Опять замолкло все об эвакуации. Становится тяжело жить. Жить, не зная для чего, жить, влачить свою жизнь в голоде и холоде. Морозы до 25-30° пробирают в 10 минут и валенки. Не могу... Рядом мама с Ирой. Я не могу отбирать от них их кусок хлеба. Не могу, ибо знаю, что такое сейчас даже хлебная крошка. Но я вижу, что они делятся со мной, и я, сволочь, тяну у них исподтишка последнее. А до чего они доведены, если мама вчера со слезами на глазах говорила мне, что она искренне желала бы мне подавиться уворованным у нее с Ирой довеском хлеба в 10-15 грамм. Какой страшный голод! Я чувствую, знаю, что вот предложи мне кто-нибудь смертельный яд, смерть от которого приходит без мучений, во сне, я взял и принял бы его. Я хочу жить, но так жить я не могу! Но я хочу жить! Так что же?

Ну вот и все... Я потерял свою честность, веру в нее, я постиг свой удел. Два дня тому назад я был послан за конфетами. Мало того что я вместо конфет купил какао с сахаром (расчет на то, что Ира его есть не станет и увеличится моя доля), я еще половину «всего» - каких-то 600 г полагалось нам на всю декаду - присвоил, выдумал рассказ, как у меня три пачки какао выхватили из рук, разыграл дома комедию со слезами и дал маме честное пионерское слово, что ни одной пачки какао себе я не брал... А затем, смотря зачерствелым сердцем на мамины слезы и горе, что она лишена сладкого, я потихоньку ел какао. Сегодня, возвращаясь

из булочной, я отнял, взял довесок хлеба от мамы и Иры граммов в 25 и также укромно съел. Сейчас в столовой я съел тарелку супа с крабами, биточки с гарниром и полторы порции киселя, а домой маме и Ире принес только полторы порции киселя и из них еще часть взял себе дома.

Я скатился в пропасть, названную распущенностью, полнейшим отсутствием совести, бесчестьем и позором. Я недостойный сын своей матери и недостойный брат своей сестры. Я эгоист, человек, в тяжкую минуту забывающий всех своих близких и родных. И в то же время, когда я делаю так, мама выбивается из сил. С опухшими ногами, с большим сердцем, в легкой обуви по морозу, без кусочка хлеба за день она бегаёт по учреждениям, делает самые жалкие потуги, стараясь вырвать нас отсюда. Я потерял веру в эвакуацию. Она исчезла для меня. Весь мир для меня заменился едой. Все остальное создано для еды, для ее добывания, получения...

Я погибший человек. Жизнь для меня кончена. То, что предстоит мне впереди, то не жизнь, я хотел бы сейчас две вещи: умереть самому, сейчас, а этот дневник пусть прочла бы мама. Пусть она прокляла бы меня, грязное, бесчувственное и лицемерное животное, пусть бы отреклась от меня - я слишком пал, слишком...

Что будет дальше? Неужели смерть не возьмет меня? Но я хотел бы быстрой, не мучительной смерти, не голодной, что стала кровавым призраком так близко впереди.

Такая тоска, совестно, жалко смотреть на Иру... Неужели я покончу с собой, неужели?

Есть! Еды!

24 декабря. Не писал я уже много дней. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Целых 8 дней рука не брала в руку перо.

Со мной произошли перемены. Появилось что-то хорошее, как мне кажется, в моем характере. Поворот этому дала потеря мною Ириной карточки на сахар. О, как я тогда подло поступил с мамой и Ирой. Зазевался в магазине и потерял 200 г сахара, 100 г шоколада для Иры и мамы и 150 г конфет. Я хочу перемениться, хочу выковать из себя иной характер, но я чувствую, что без поддержки мамы и Иры мне не протянуть на моей честной новой жизни. Пусть бы они как-нибудь сглаживали, ну, дальше я не могу просто выразиться. Сегодня я в первый раз за много уже дней принес домой полностью все конфеты, выкупленные в столовой, делюсь с Ирой и мамой хлебом, хотя иной раз еще украдкой стяну крошку. Но

сегодня я почувствовал к себе такое теплое обращение от мамы и Иры, когда они взяли и отделили мне от своих конфеток: мама - четверть конфетки (впрочем, потом опять взяла себе), а Ира - половину конфетки за то, что я ходил за пряниками и конфетами и лепешками из дуранды в столовую, что я чуть было не расплакался. Это люди, те люди, которых я так обманывал раньше и которые знают теперь про мои прошлые обманы! Да, чего только не может сделать хорошее обращение! Но затем... та же мама у меня взяла пряник, пообещав лишнюю конфету (а лишнюю конфетку получила сама), а та же Ира плакала, что мама дала и ей и мне одинаково по конфетке, а я потом еще Ире от своей конфетки дал, так что конфеток-то Ира съела больше. Правда, сегодня мой грех: утаил от мамы и Иры один пряник... Ну... это вот плохо.

Маме что-то обещают в райкоме, что ее эвакуируют 28/XII... Сейчас мама пошла в райком насчет этого дела, если эвакуация будет отложена на 1 января, мы погибли, т. к. у нас осталось только талонов на два дня, еле-еле на три. Не больше. Мамино здоровье все более ухудшается. Опухоль у нее идет уже к бедру. Я завшивел окончательно... Я и Ира немного опухли на лицо. Сегодня кончили конфеты. Завтра - крупу. Послезавтра - мясо и масло. А затем, затем...

Тихая грусть, гнетущая. Тяжело и больно. Печаль и тяжкая безотрад-ная скорбь. Может быть, и еще что. Только вспоминаются дни, вечера, проводимые здесь, когда я выхожу из кухни в нашу квартиру. В кухне есть еще какой-то мираж нашей прошлой довоенной жизни. Политическая карта Европы на стене, домашняя утварь, раскрытая порой для чтения книга на столе, ходики на стене, тепло от плиты, когда она топится... Но мне хочется обойти опять всю квартиру. Надеваешь ватник, шапку, за-поясываешься, натягиваешь варежки на руки и открываешь дверь в коридор. Здесь мороз. Из рта идут густые клубы пара, холод забирается под воротник, поневоле поеживаешься. Коридор пуст. Один на другом стоят поставленные Анфисой Николаевной четыре стула ее, да у стенки поставлены доски от расколотого на дрова шкафа. У нас было 3 комна-ты. Сейчас вправе назвать себя владельцами лишь двух из них. Крайняя к кухне занята И-выми. О них нечего говорить. Весело топится у них в ком-нате буржуйка, вкусный запах идет из-под их дверей, счастьем, чувством сытости светятся лица жильцов этой квартиры. И рядом... пустая комна-та, оклеенная коричневыми обоями; окно разбито, гуляет холодный ве-тер с улицы, голый дубовый стол у стены и голая этажерка в углу. Пыль и

паутина по стенам... Что это? Это бывшая столовая, место веселья, место учебы, место отдыха для нас. Здесь когда-то (это кажется давным-давно) стояли диван, буфет, стулья, на столе стоял недоеденный обед, на этажерке книги, а я лежал на диване и читал «Трех мушкетеров», закусывая их булкой с маслом и сыром или грызя шоколад. В комнате стояла жара, а я, «всегда довольный сам собой, своим обедом и...», последнего у меня не было, но зато были игры, книги, журналы, шахматы, кино... а я переживал, что не пошел в театр или еще что-нибудь, как часто оставлял себя без обеда до вечера, предпочитая волейбол и товарищей... И, наконец, как-то вспоминать ленинградский Дворец пионеров, его вечера, читальню, игры, исторический клуб, шахматный клуб, десерт в его столовой, концерты, балы... Это было счастье, которое я даже не подозревал - счастье жить в СССР, в мирное время, счастье иметь заботившуюся о тебе мать, тетю, знать, что будущего у тебя никто не отымет. Это - счастье. И следующая комната - мрачная, унылая полутемная клеть, загруженная всяким добром, что осталось у нас. Стоит комод, разобранные кровати, два письменных стола один на другом, диван, все в пыли, все закрыто, упаковано, лежать тут хоть тысячу лет...

Холод, холод выгоняет нас и из этой комнаты. Но когда-то здесь была плитка, на ней жарился омлет, сосиски, варился суп, за столом сидела мама и долго ночами работала при свете настольной лампы...

Здесь, бывало, вертелся патефон, раздавался веселый смех, ставилась огромная, до потолка елка, зажигались свечи, приезжала Тина, приходил Мишка, на столе лежали груды бутербродов (с чем их только не было!), на елке висели десятки конфет, пряников (никто их не ел), чего только не было! А ныне здесь пусто (кажется, что так), холодно, темно, и незачем мне заглядывать в эту комнату. (...)

3 января. Чуть ли не последняя запись в дневнике. Боюсь, что и она-то... и дневник-то этот не придется мне закончить, чтобы на последней странице написать слово «конец». Уже кто-нибудь другой запишет его словами «смерть». А я хочу так страстно жить, веровать, чувствовать! Но... эвакуация будет лишь весною, когда пойдут поезда по Северной дороге, а до весны мне не дожить. Я опух, каждая клетка моей ткани содержит воды больше, чем нужно. Распухли все, следовательно, внутренние органы. Мне лень передвинуться, лень встать со стула, пройти. Но это все от избытка воды, недостатка еды. Все жидкое, жидкое, жидкое... И опух. Мама порвала со мной с Ирой. Они оставят меня, у мамы уж такая сейчас стала

нервная система, что она готова позабыться, и тогда... Как это уже бывало, как она мне каждый день говорит, тогда она с Ирой как-нибудь выберутся отсюда, но не выбраться мне. Какой из меня работник? Какой из меня ученик? Ну, проработаю я, проучусь неделю, а там и протяну ноги... Неужели это так и будет? Смерть, смерть прямо в глаза. И деться от нее некуда. В больницу идти - я весь обовшивел... что мне делать, о господи? Я ведь умру, умру, а так хочется жить, уехать, жить, жить!.. Но, быть может, хоть останется жить Ира. Ох, как нехорошо на сердце... Мама сейчас такая грубая, бьет порой меня, и ругань от нее я слышу на каждом шагу. Но я не сержусь на нее за это, я - паразит, висящий на ее и Ириной шее. Да, смерть, смерть впереди. И нет никакой надежды, лишь только страх, что заставишь погибнуть с собой и родную мать, и родную сестру.

4 января. (...) Только какой-то именно, только бог, если такой есть, может дать нам избавление. Пусть он спасет нас теперь, никогда, никогда не придется мне уж обманывать мать, никогда не придется мне порочить свое чистое имя, оно опять станет у меня священным, о, только бы нам была дарована эвакуация, сейчас! А я клянусь всею своей жизнью, что навечно покончу со своей гнусной обманщицкой жизнью, начну честную и трудовую жизнь в какой-нибудь деревне, подарю маме счастливую золотую старость. Только вера в бога, только вера в то, что удача не оставит меня и нас троих завтра, вера на ответ Пашина в райкоме - «ехать» - только это ставит меня на ноги. Если бы не это, я погиб. Но я хочу остаться, вернее, хотел бы, да не могу... Только завтрашний отъезд... Я сумею отплатить хорошим по отношению к Ире и к маме. Господи, только спаси меня, даруй мне эвакуацию, спаси всех нас троих, и маму, и Иру, и меня!..

6 января. Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит - я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида - вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы (...) из меня уходят, уходят, плывут... А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит?